

ФИЛОСОФИЯ. ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ

DOI 10.25991/VRHGA.2019.20.3.038

УДК 130.2

*К. П. Шевцов**

СОВРЕМЕННЫЙ МИР КАК ОБЩЕСТВО ФЕЙКА**

В статье ставится вопрос о роли фальсификации в современном информационном мире на примере феномена, получившего название «фейк». То, как используются фейки, заставляет отказаться от простого понимания их как ложного сообщения и рассматривать как разновидность не только утверждающих, но и учреждающих актов, или перформативов. В этом смысле фейки занимают место «священных объектов», отсылающих к начальным условиям возникновения общества и его саморегуляции. В статье показано, что доверие к фейкам в немалой степени определяется природой желания и структурой идентичности, которая организуется вокруг утраты и связана с опасностью разоблачения собственной природы как фейковой. Также в статье вводится и разъясняется понятие цифрового бессознательного как формы существования в эпоху цифровых систем коммуникаций, которым сопутствует эпидемическое умножение и распространение фейков как на низшем уровне социальных сетей и блогов, так и на высшем государственном уровне.

Ключевые слова: доверие, фейк, идентичность, субъекция, перформатив, цифровое бессознательное.

K. P. Shevtsov

THE MODERN WORLD AS A FAKE SOCIETY

The article discusses the question of the role of falsification in the modern information world by the example of a phenomenon called “fake”. Fakes are used not only as false messages, because they include both approving and establishing acts, or performatives. In this sense, fakes take the place of “sacred objects”, referring to the initial conditions for the genesis of society and its self-regulation. The article shows that trust in fakes is to a large extent determined by the nature of desire and the structure of identity, which is organized around loss and is associated with the danger of exposing one’s own nature as fake. The article also introduces

* Шевцов Константин Павлович, доктор философских наук, профессор, Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации; shvkst@gmail.com

** Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и АНО ЭИСИ в рамках научного проекта № 19-011-31418 «Политика формирования доверия в эпоху фейка».

and explains the concept of the digital unconscious as a form of existence in the era of digital communication systems, which is accompanied by the epidemic multiplication and spread of fakes both at the lowest level of social networks and blogs, and at the highest state level.

Keywords: trust, fake, identity, subjection, performative, digital unconscious.

1. Фейк как перформатив

Как показывает история мысли, интерес ко лжи — самой ее возможности, ее причинам и воздействию — не только сопровождает постановку вопроса об истине, но и в значительной мере гарантирует осмысленность и принципиальность обсуждения этого вопроса. Поскольку разыскание истины должно полагаться на некие начальные очевидности, мы предпочитаем полагать, что обладаем достаточными критериями для верного суждения, но тем самым отнюдь не обеспечиваем себя защитой от ложного выбора. Дело в том, что, отличая истину от лжи, мы превращаем истину в формальный критерий различия, который в конечном итоге придает и самой отъявленной лжи добропорядочную форму истины. Само по себе суждение «Я знаю, что произошло» никак не препятствует совершенно ложному представлению фактов, поэтому с необходимостью возникает вопрос, что же собственно утверждает ложь, или: что производится и учреждается этой пустой мнимостью, которая гораздо чаще, чем хотелось бы, пользуется широким доверием и становится руководством к действию. Даже при том, что истина сегодня в немалой мере утратила свой сакральный авторитет, ее производство в господствующей системе дискурсов требует неизменного полагания своего иного — аномального, враждебного «нашим» (традиционным или либеральным) ценностям, не просто ложного, а именно упорствующего в обмане, в порождении или производстве заведомой лжи, в распространении едва ли не главного бедствия современного информационного мира — фейка.

Уже Платон понимал, насколько важно удержать границу истины и лжи, потому что, не принадлежа ни одной из сторон, она позволяет обратиться как к истине, так и ко лжи и тем самым усилить их присутствие в мире. Эта граница предстанет ложью, если мы будем держаться небытия, или окажется «благородным вымыслом», если мы придумаем мифы, которые направят граждан к справедливой жизни. Миф из «Государства» о происхождении трех сословий из земли с примесью различных пород металла [9, с. 184] по сути является фейком, но поскольку им узаконивается различие каст, он перестает быть мнимостью и небытием, и, наоборот, порождает порядок, который следует справедливости. Формально фейком является любое намеренно ложное сообщение, фальсификация, но, в отличие от простой лжи, фейк вводит в оборот «прибавочную стоимость», состоящую в избыточной ясности и понятности «факта», устанавливающей определенную парадигму истолкования. Иначе говоря, «факт» в этом случае выступает вовсе не ложным означаемым, а актуальным означаемым тех смыслов, которые полагаются или производятся фейком. Такие фейки не столько утверждают некий «факт», сколько учреждают новое положение дел, новую реальность, способную оправдать развязывание войны, проведение бомбардировки, введение санкций или определение общей новостной политики (в качестве примеров можно назвать постановочный ро-

лик о химической атаке в Сирии 7 апреля 2018 г. или сюжет «Первого канала» о распятом мальчике в Славянске, показанный 12 и 13 июля 2014 г.).

В этом смысле показателен пример знаменитой пробирки, которую показал Колин Пауэлл на заседании Совета Безопасности ООН в 2003 г. Как известно, в его речи не было слов о том, что в самой пробирке находятся споры сибирской язвы или какой-либо иной образец химического оружия Саддама Хусейна. Пробирка должна была служить риторическим средством, указывающим на масштаб опасности, связанной с предполагаемыми запасами оружия массового поражения, но именно эта избыточность риторического приема сама стала основой широко распространенного фейка, согласно которому пустая пробирка была выставлена американцами как «доказательство» преступной сущности режима Хусейна и в итоге привела к вторжению в Ирак, дестабилизации Ближнего Востока и многочисленным жертвам среди мирного населения. Избыточность жеста воспринимается как фейк, потому что сам фейк является не чем иным, как избыточным жестом, учреждающим определенный смысл, новый или старый порядок. Не случайно само слово «фейк» становится сегодня не только обозначением лжи и выражением презрения к ее источнику, но и свидетельством радикальной непримиримости и непризнания чужой позиции и самого существования оппонента, и мы можем услышать, как «фейком» или «фейковым» называют реального политика и медийную персону, партию или движение.

Если задача, которую решал Платон, ставится сегодня иначе, то лишь потому, что уже невозможно удовлетвориться одним мифом, каким бы значимым он ни был. В современном мире, как показал Барт, есть запрос на множество сквозных мифов, которые превращают строй языка в видимость естественного порядка реального. И хотя Барт считал, что для возникновения мифа достаточно простой инфляции знака на уровне означающего, опустошения и утраты его истории [1, с. 82], мы видим сегодня, что поддержку этой инфляции оказывает производство фейков, выполняющих свою непрерывную учредительную работу. Как и миф, фейк всего лишь рядится в одежды сообщения, некоей информации, которая вбрасывается в коммуникативное поле, при том что природа его значений от начала и до конца перформативна: «факт», о котором он сообщает, является лишь означающим для того, что утверждается и учреждается самим актом этого сообщения. Этот факт пуст, как пробирка в руках Колина Пауэлла, но именно поэтому он становится выражением для нового порядка значений и действий.

2. Фейк в эпоху «цифры»

Несомненно, мы настолько привыкли к пониманию своей эпохи как века информации, что обман и фальсификация все еще воспринимаются как скандал и как вызов самим основам нашего мира. Действительно, скандальность фейку придает то, что его распространяет источник, для которого объективность и неангажированность, верность фактам являются главным оправданием существования. И при этом источник, пусть и в неявной форме, занимает позицию лжеца, говорящего «Я лгу». Таким образом, происходит разрыв между речью и истиной, которая отступает в молчание, и это значит, что проблема фейков затрагивает статус самой речи, ее претензию на истинность, на особую

позицию различения истины и лжи. Речь идет о нарушении базового договора, благодаря которому возможна сама речь и любые другие договоры, которые требуют для себя выражения в речи. Но в связи с этим возникает и совсем другой вопрос: а правильно ли мы понимаем природу этого исходного договора? И еще: насколько верно наше понимание своей эпохи как века информации?

В свое время Бодрийяр писал, что «все мы стратегические заложники *in situ* [на месте]: наше место обязательного пребывания — экран телевизора, где мы ежедневно подвергаемся виртуальной бомбардировке и в то же время выступаем в качестве меновой стоимости» [3, с. 16]. Наша позиция в потоке информации меньше всего походит на позицию адресата или адресанта, потому что быть заложником значит подчиняться, ин-формироваться, приобретать ту форму, которая нужна информации не для передачи и получения, а для бесконечного размножения и воспроизведения самого информационного поля. В век технической медиации и воспроизведения информация уже не связана с речью и ответственностью за свои слова, она пульсирует, как кровь, которая должна поддерживать существование всей системы технических медиа и тех интересов, желаний и сил, которые вовлечены в существование этой системы.

Сегодня эта система представляет собой множество цифровых средств коммуникации, которые образуют своего рода цифровой разум современной цивилизации. В идее разума лежит представление о порядке и мере, соединяющей различное в форме симметрии, со-размерности, одного и другого. Античный мир полагал, что мера человеку — космос, а мерой самого космоса считал правильную и обоснованную речь, Логос, как основу и выражение любого мыслимого порядка. Новоевропейская философия начинает с признания того, что *cogito* и врожденные идеи души есть мера познаваемого, но в итоге приходит к другому вопросу: какова же человеческая мера истины, т. е. какова мера самого человека? Уже в XIX в. мы находим многообразные последствия этого вопрошания в разработке все новых и новых способов измерения человека: пороги чувствительности, объем восприятия и памяти, скорость реакции, активность нейронов и пр. Человек стал объектом измерения, потому что заявил о себе как о субъекте и мере вещей, и именно этот поворот знаменует собой формация цифрового разума — формация не меры, которую мы устанавливаем и храним в себе, а несчетности измерений, которым мы отныне подлежим едва ли не во всех своих действиях и желаниях (об «исчислимости» человека как одном из первичных условий его превращения в субъекта морали писал еще Ницше во втором рассмотрении «К генеалогии морали» [8, с. 440]).

В границах цифрового разума нам известно лишь то, что медиум вкладывает в нас, поскольку он и создан для того, чтобы собрать в себе все способы измерения нашего присутствия. Строго говоря, именно этот момент и выражен наименованием «цифровой», поскольку таким образом мы противопоставляем пифагорейскому порядку чисел, понимаемому как порядок сущностных мер, порядок цифр, который начинается там, где число из означаемого превращается в означающее самого себя, из меры существования — в степень возрастания и превосходства, т. е. по сути — в степень удаления от единицы как меры в себе. Слово «цифра» происходит от арабского *صفر* *sifr* «ничего, пустое место, ноль», которое представляет элемент не универсального порядка, а всего лишь запи-

си, чисто синтаксический элемент. Отсутствие числа, обозначающего собой порядок, и раньше выражалось пустой строкой, но знак для нуля — это знак, который позволяет сокращать запись при переходе к новому порядку. Таким образом, он означает не число и даже не отсутствие числа, а весь числовой период, как если бы все его числа содержались в самом исходном отношении нуля и единицы — как безмерного и меры, ничто и бытия. Иначе говоря, для цифры значимой оказывается не исходная мера, а сама возможность производства новой меры, потенциально бесконечного ряда, который возникает благодаря прибавлению нового порядка, еще одного нуля.

По сути, цифра — это высвобождение безмерного, именно вместе с ней в структуру числа вносится отношение единицы и нуля, пустоты, инаковости, чистого различия. Сложение единиц в числовом ряду перестает быть развертыванием единого в устойчивую форму декады, оно становится порождением новых мер, обращение которых на исходную единицу ведет к расщеплению ее в бесконечность иррациональных чисел. Эти числа уже не являются в строгом смысле мерами, они представляют собой способ выражения безмерного посредством бесконечного ряда цифровых означающих (очевидно, что только в мире цифры возможен лейбницевский проект двоичного исчисления, в котором все числа сводятся к различным комбинациям нуля и единицы, т. е. ничто и бытия, присутствия и отсутствия).

Пифагорейское число стояло у истока метафизического разума, но в этом проекте была ограниченность, которая определила предпочтение не числовому порядку симметрий, а логосу как мере бытия. В отличие от строгой меры себя, воплощенной в декаде, для разума существенно важна не только сама по себе мера, но и ее применение, балансирование на границе тождества и иного, которое, как говорит Платон, дано в мышлении в форме соединения имени и глагола. В известном смысле число остается областью сверхразумного, мистического или магического проникновения к первоначалу. Совершенно иначе обстоит дело с цифрой, которая не претендует на роль начала, но, бесконечно умножая числовые порядки, позволяет в связке 1 и 0 соотносить одно и иное, различие и неразличимость, и тем самым находить способ выражения и исчисления любой человеческой деятельности, что значит: переводить эту форму на внешний носитель, медиум; выстраивать сеть медиаций как порядок, соединяющий всех субъектов в единый коммуникативный порядок, собственно сферу цифрового разума. Индийские цифры (еще без знака для нуля) впервые появились в Европе около 1000 г., но действительное признание и широкое распространение позиционной записи приходится на XIV–XVI вв., когда все более насущной становится потребность в быстрых и сложных коммерческих и бухгалтерских расчетах [7, с. 489–493]. Таким образом, цифра оказывается одним из современников и участников тех процессов, которые привели сначала к формированию новоевропейской метафизики, а затем и, собственно, к торжеству «цифры», обозначившему переход к совершенно новой формации разума.

Стоит выделить три важнейших момента, знаменующих это событие, занявшее несколько десятилетий XX в.: 1) измерение параметров передачи и восприятия не только вербальной, но и (в пределе) любой информации; 2) создание компьютеров, позволяющих осуществлять расчет условий (электрических сиг-

налов), необходимых для воспроизведения и симуляции исходной информации; 3) объединение компьютеров в коммуникационную сеть. Цифровой разум появляется тогда, когда объектом исчисления становится не мир, а коммуникация, а точнее — когда цифра становится означающим означающих, т. е. условием перевода сообщений с одного языка на другой, причем речь идет о не только и не столько вербальных языках, сколько о языках образных, фантазматических, чувственных. И поскольку эти языки, в отличие от вербального, по большей мере неотделимы от субъекта, то предметом этого разума в конце концов становится сам субъект, перевод разных типов субъективности друг в друга посредством работы с формами идентичности, объектами желания, мотивами и пр.

Итак, мы должны указать на внутреннюю несоизмеримость числа и цифры, строгой меры, заложенной в практике счета, и порождения все новых способов измерения человеческого, симуляции сферы чувственного представления, желания и личной идентичности. Эту несоизмеримость можно представить в виде следующей антиномии: 1) цифровой разум дает единственно верную картину мира, потому что открывает возможность для каждого проявлять свою инициативу, сообщать о своей позиции, давать сводку событий, представлять фото- и видеозапись фактов; 2) цифровой разум дает полностью поддельную картину мира, некритичную, состоящую из несчетного множества чисто субъективных, бесконтрольных, иногда — заведомо фейковых свидетельств происходящего. Антиномия возникает именно потому, что мы пытаемся описывать цифровой разум в категориях истины и лжи, а точнее — меры и ее нарушения, тогда как единственное содержание этого разума — производство каждый раз новых мер, соответствующих актуальным конфигурациям желания и обновляющимся формам идентичности.

В современных условиях фейки представляют собой не скандал, а наоборот — неизбежность или, лучше сказать, внутреннюю необходимость. Пролиферация все новых измерений и мер ведет к постоянной инфляции учреждающих актов, и в этой ситуации заменой им как раз и выступают фейки, вокруг которых группируются свои сообщества, фаны, «фоловеры», «боты», разграничивая общее поле коммуникации в соответствии с различными моделями и типами идентичности, траекториями, желаниями и способами признания. В условиях безграничного потока информации, как писал Больц, возникает спрос на сжимание этого потока и наделение информации смыслом [4, с. 18], и было бы иллюзией думать, что этот смысл будет привнесен из некоего внешнего источника, хранящего значимость внутренней работы внимания, взвешивания и глубокого анализа. Мы видим, что подобная рамка возникает внутри самого потока благодаря «событиям», которые отмечены особой силой утверждения и акцентуации, выразительности и полноты переживаний, и можно не сомневаться, что значительная часть этих «событий» — фейки, которые принимаются аудиторией как жизненная необходимость, даже если изначально известно, что ничем иным, кроме фейков, они и не могут быть.

3. Доверие к фейкам

На чем же строится наше доверие к фейкам, которые очевидно никак не подрывают основы информационного общества, а прямо наоборот — яв-

ляются необходимым моментом, если не сказать условием, его существования? Доверием мы называем такую установку, которая не требует ответа на вопрос, доверяем мы или нет. Мы принимаем то, что нам говорят, показывают и пр., и лишь в редком случае объясняем свою установку словами «я доверяю тому-то или такому-то». Иначе говоря, эта установка не рефлексивна, ее можно назвать простой направленностью на предмет, и, однако, прозрачностью этой направленности не исключает неявной медиации, которая допускает запаздывающее появление рефлексии, недоверия, проверки, отказа или, наоборот, укрепления доверия. Эта медиация свидетельствует о включении иной формы мышления, не осознаваемой, но структурно значимой, являющей бессознательное самой структуры сознания. Если современная культура строится на глубоком доверии к фейкам, то стоит ли в этом случае говорить не только о сознании, но и о некоем бессознательном цифрового мира?

Строго говоря, бессознательное — это то, что не уместается в установленном порядке, вытесняется им, и при этом не может быть вытеснено полностью, потому что является одним из условий этого порядка. Это та иррациональная часть души, от которой отталкиваются все проекты рационализации, и тем самым сохраняют ее при себе как собственную опору. Вот почему эта часть души никогда не успокаивается, требуя для себя реализации; и вот почему в установленном порядке всегда сохраняются зоны для ее реанимации и прорыва в плоскость сознания. Так, мера, которая устанавливает порядок чисел, подразумевает и то, что ускользает от этого порядка, а именно само различие чисел, или «инаковость», «двоицу», «многое». Воплощением этой «инаковости» можно считать платоновскую «хору», которая заявляет о себе не только на уровне души в чувственном желании, но и на уровне космологии — в катастрофах, землетрясениях, извержениях вулканов. Если говорить о языке как порядке знаков, то он по природе своей включает отсылку к чему-то другому, предполагая тем самым как высказанное, так и сокрытое, отложенное, отодвинутое в горизонт всех значимых отсылок и означаемых.

Цифра появляется как означающее для отдельных чисел, и то, к чему она отсылает, — это сам числовой ряд, взятый в его принципиальной незавершенности. Иначе говоря, цифра поднимает на уровень означающего тот самый элемент числового ряда, который и был его «инаковостью», бессознательным. Но существует ли собственное бессознательное цифры? Ноль подразумевает начало нового порядка счета, и в этом смысле он в равной мере опирается на незавершенность исчисления и на полноту, совершенство самой меры, выраженной в предшествующем порядке. В этом смысле именно исполненность числа как меры является одновременно и условием цифры, и областью ее невозможности, отмены. Полнота грозит отменой бесконечности исчислений, но она же должна быть фактором построения цифрового ряда, преследующим нас образом, наваждением, фантазмом вытесненного, отторгнутого условия. Мир цифры — это тотальность измерения без меры, без полноты присутствия, для которой сама мера остается вытесненным условием. Так не находим ли мы выражение бессознательного в буйстве рейтингов, опросов, в склоках в комментариях и на форумах? Бесконечно измеряемый субъект хочет говорить о другом, оценивать другого, быть полнотой принятия или неприятия

другого, хочет быть в отношении другого тем, чем не может быть в отношении себя — мерой, единицей присутствия.

Именно мера является сегодня границей бессознательного, потому что лежит в основе порядка измерений и при этом вытесняется этим порядком, является мотивом, объектом желаний и при этом желанием недостижимым, невозможным. Выразителем этой парадоксальной меры служит, например, идентичность, которую мы присваиваем себе в цифровом универсуме, распространяя полное доверие на все, что соответствует принятой идентичности и способно расширять ее признание и осуществление в мире. Оставляя в стороне трудный вопрос о природе идентичности, мы ограничимся лишь одним, но очень важным, моментом этой проблемы. Идентичность можно понимать не только как когнитивное образование, определяющее ответственность субъекта в сфере актов сознания и практического действия, но и как особую (искусственно созданную) возможность чувственности, синтетический «орган чувства». Так, принимая идентичность «русского» или «украинца», человек сталкивается с тем, что отныне любые замечания о «русских» и «русском» или об «украинце» и «украинском» приносят радость либо страдание, приводят в восторг или в бешенство. Разумеется, это чувство может уходить в тень других, и мы можем считать себя «разумными», «критически мыслящими», «современными» и пр., но все равно в том, что касается «русскости» или «украинства», сохраняется определенный нерв, который в любой момент может обнажиться, воспалиться и пр.

Несомненно, такого рода «чувство» позволяет нам как-то ориентироваться в потоках информации, событий, действий и служить основой нашим собственным действиям, которые укрепляют в этом чувстве, либо позволяя увеличить степень удовольствия от ощущения себе «таким-то и таким-то», либо уменьшить степень неудовольствия. Какого рода может быть это «чувство» и как оно может быть основанием действия? Здесь стоит отступить к локковской теории тождества и обратить внимание на следующий момент. В своем «Опыте о человеческом разумении» Локк выводит идентичность из памяти, но не из самой по себе способности удерживать и хранить впечатления прошлого опыта. Запоминание определяет возможность знания и практики, но помимо этого есть и совершенно иной аспект памяти, лежащий в основе сознания тождества. Речь идет об акте присвоения памяти, а точнее, о присвоении прошлого, признании его в качестве «своего». Именно в этом акте память перестает быть простым образом прошедшего и становится настоящим переживанием прошлого, «моим» прошлым, которое как бы не проходит. Оно и есть и нет, не ощущается обычными чувствами, но порождает свое «чувство», связанное с избытком прошлого, с неизбежным беспокойством его утраты и желанием его восполнения.

Присваивая память, мы принимаем ответственность за то, что было утрачено, и в этом смысле сама идентичность оказывается не более, чем знаком утраты, измерением без меры, бесконечно провоцирующим желание быть, примерять на себя все новые образы и статусы, включаться в новые цепочки сообщений, новые информационные потоки, которые раскручивают все больше внутреннее беспокойство сегодня уже не только личностной, как у Локка [6,

с. 391], но и новой, цифровой, идентичности. Современное сетевое «Я» приобретает характер фейка, и именно поэтому мы нуждаемся в безусловном доверии к фейкам, которое обеспечит признание и доверие новому способу присутствия «Я». Если совершенное действие прежде было основой идентичности, так же как факт был основанием для сообщения о нем, то теперь именно приравнивание той или иной идентичности обуславливает возможность действий не только в настоящем и будущем, но и в прошлом (забытых, вытесненных, но «возвращенных» благодаря «анализу» или выстраиванию любой подходящей автомифологии), и так же точно именно сообщение и поднятый вокруг него «хайп» определяют условие возможности «фактов» как той структуры мира, в которой циркулируют понятные и приемлемые для нас сообщения. Мы принимаем с доверием фейки не потому, что не знаем о ложности сообщаемых «фактов», а потому, что надеемся, что их сегодняшняя «фейковость» будет опровергнута в дальнейшем: этого не было, но это могло быть, а значит было, потому что в итоге происходит именно то, что предполагает эту возможность. Так же как «самосбывающееся пророчество» порождает собственное оправдание, внутреннее самоопровержение фейка обеспечивает полное доверие к нему как современному способу открытости бытия, перформативной природы его учреждения и утверждения.

4. Социальная онтология фейка

Порядок, учреждаемый фейком, требует для себя совершенно иного типа субъективности, несовместимого ни с архаическим строем мифа, ни с классическим порядком разума. Беспокойство утраты, лежащее в основе современной формы идентичности, соответствует тому, как Фрейд описывает состояние меланхолии. В этом случае потеря объекта желания не направляет к новому объекту, а превращает саму утрату в некую внутреннюю форму субъекта, его обращенность к самому себе как несовершенному замещению утраченного. Как пишет Джудит Батлер, меланхолический субъект представляет собой «сгусток истории утраты, отложение во времени отношений замещения, разрешение тропологической функции в онтологический эффект “я”» [2, с. 137]. Меланхолик не признает утраты, потому что сама его субъективность и есть оформление утраты, которая тем самым принимается и признается лишь в форме своего неузнавания. С точки зрения Батлер, именно это сочетание признания себя и неузнавания себя как следа утраты и есть исходная форма субъекции как самоопределения и самосознания. Можно сомневаться в универсальности подобного понимания субъекта, но несомненно то, что анализ Фрейда и Батлер выявляет существенный модус субъективности эпохи фейков и цифрового бессознательного. В нашем доверии к фейкам нет ни радостного утверждения бытия, ни критической оценки условий достоверности, оно целиком и полностью пронизано меланхолией непрозрачного, несообщаемого факта утраты, который превращает нас в тех, кто мы есть, — в хранителей и ожесточенных поборников своих фейков.

Структурное недовольство собой, возрастающее тем больше, чем выше мы оцениваем свою позицию критики, подозрительности и недовольства миром, — продукт нашей цифровой эпохи. Мы считаем себя знающими, критиче-

ски подкованными современными людьми, имеющими доступ к информации, необходимой для выстраивания собственного обоснованного мнения, и при этом плывем посреди невероятно мутного потока информации, проверять которую чаще не в состоянии, не говоря уже о вынесении сколько-нибудь обоснованного суждения. В этом случае мы имеем дело с конфликтом, который не является исключительно внутренней заботой субъекта, но заложен в самой структуре социального поля как условия производства современной формы субъективности. Разрешением этого конфликта, как правило, и является фейк, поскольку он позволяет переходить от уровня фактов и их проверки к уровню радикальной подозрительности в отношении любых «объективных» способов проверки, которые не соответствуют идеальной позиции меланхолика, его недовольству миром как замещением изначальной утраты.

Представления об утрате, о забытом начале, грехопадении или отцеубийстве являются столь же древними, как и сам человек. Их цель, очевидно, — разделение двух порядков, божественного и человеческого, творящего мир и сотворенного, устанавливающего законы и нарушающего их. Учреждающая сила избыточна, она не выводится из того, что есть в наличии, она принимается как дар, который не может быть включен в эквивалентность обменов, не имеет аналогов, не допускает никакой квантификации и оценки. Марсель Мосс впервые показал, что обмен дарами образует систему, лежащую в основе общества, и выполняет роль социального договора, который воспроизводит отношение с богами как дарителями всех благ. Клод Леви-Стросс попытался представить обмен дарами как частный случай разнообразных обменов (обмен женщинами, знаками и вещами), которые образуют социальный порядок и поддаются строгому анализу, определяющему их место и ценность в структуре отношений. Концепция Мосса получила дальнейшее развитие в исследовании Мориса Годелье, согласно которому вся система обменов поддерживается наличием «священных объектов», не подлежащих обмену именно потому, что они были получены в дар от богов в мифические времена первоначала, учреждения существующего порядка мира. Как показывает Годелье на примере племени баруйя, живущего в двух высокогорных долинах горной цепи внутренней части Новой Гвинеи, эти «священные объекты» хранят не только воспоминание о сотворении, но и свидетельство некоего обмана, кражи, благодаря которым изначальная сила, избыточная, порождающая, связанная с женской природой, захватывается мужчинами, которые видят свою роль в ограничении этой силы, устранении опасности хаоса, разрушения порядка [5, с. 158]. Иными словами, именно священный обман обеспечивает сохранение границы двух различных планов мира, сакрального и профанного, и тем самым превращает мифы о сотворении мира в некие фейковые повествования, обеспечивающие власть мужчин над женщинами.

Система даров, описанная Моссом и Годелье, показывает, как общество воспроизводит собственный порядок, происхождение которого возводится к первичным учреждающим событиям и актам. Эти порождающие события не имеют для себя оснований, не имеют эквивалента, не могут быть описаны и сообщены иначе, как в качестве некоего мифа, в основу которого уже заложен обман, необходимый для сохранения и удержания созданного этими

событиями порядка. Поэтому то, что рассказывается об этих событиях, и то, что заключено в оставленных ими «священных объектах», не имеет иного оправдания, кроме существования самого порядка, который при этом оправдывается тем, что был дарован этими событиями, т. е. является неким «священным объектом» в глобальном смысле. Годелье считал, что аналогом «священного объекта» в современном мире является конституция как результат учреждающей коллективной воли [5, с. 251], но если от основного закона мы обратимся к разнообразным формам социальной и политической практики, то обнаружим, что примером учреждения здесь зачастую выступают именно фейки, которые берут на себя миссию закрепления сложившейся расстановки сил и распределения власти между группами, целыми государствами и союзами государств. Таким образом, они оказываются «священными объектами», которые возвращают наши общества к изначальной форме договора как дара самого бытия, устанавливают не-бывшее существующим, заключают стратегический договор, объявляют кого-то угрозой и врагом или устанавливают очередную «красную линию».

Сегодня мы имеем дело с непомерным размножением фейков, которые образуют густую серую паутину, опутывающую весь массив информации. Среди них — и мелкое вранье блогеров, которые обменивают эти фейки на «хайп», «лайки» и просмотры, и вранье новостных каналов, которые рискуют своим авторитетом ради демонстрации своей позиции и одаривают ею тех, кто становится их аудиторией с обязательством принимать все новости в том свете, который соответствует этой позиции. Но есть особые фейки — это фейки предельно авторитетных источников, наделенных властью принятия решений. Все фейки по своей природе перформативны, но если в одних случаях мы имеем дело не более чем с установлением своего круга, своей клиентуры, то в других мы встречаемся с примером настоящего учреждения мира, современной версии сакрального перформатива.

ЛИТЕРАТУРА

1. Барт Р. Избр. работы: Семиотика: Поэтика / пер. с фр.; сост., общ. ред. и вступ. ст. Г. К. Косикова. — М.: Прогресс, 1989.
2. Батлер Дж. Психика власти: теории субъекции / пер. Завена Баблюяна. — Харьков: ХЦГИ; СПб.: Алетейя, 2002.
3. Бодрийяр Ж. Дух терроризма. Войны в заливе не было / пер. с фр. А. Качалова. — М.: Рипол-классик, 2016.
4. Больц Н. Азбука медиа. — М.: Европа, 2011.
5. Годелье М. Загадка дара / пер. с франц., примеч., указ. А. Б. Щербаковой; ст. и коммент. А. А. Белика. — М.: Восточная литература, 2007.
6. Локк Дж. Соч.: в 3 т. — М.: Мысль, 1985. — Т. 1.
7. Меннингер К. История цифр. Числа, символы, слова. — М.: Центрполиграф, 2011.
8. Ницше Ф. Соч.: в 2 т. — М.: Мысль, 1990. — Т. 2.
9. Платон. Собр. соч.: в 4 т. — М.: Мысль, 1994. — Т. 3.